

БОЛЕЗНЬ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА

Я познакомился с Николаем Алексеевичем Некрасовым зимой 1872/73 года, когда он пришел ко мне посоветоваться о своем здоровье; входя, как теперь помню, он обратился ко мне с словами: "Вы меня примите, отец, под свою команду, почините". Починка в это время оказалась не существенная. <...>

К весне Николай Алексеевич стал жаловаться на вялость, апатию, нерасположение к занятиям; все эти жалобы достаточно объяснялись тем безалаберным образом жизни, который он вел зимой: ночи он все просиживал или в клубе, или за письменным столом, днем вставал поздно, пешком совсем не ходил, в пище также, несмотря на все настояния, часто случались погрешности. Ввиду всего этого я посоветовал Николаю Алексеевичу поехать на лето за границу, а именно сказал: "Четыре недели прожить в Киссингене и пить Рокоцн, а потом, после двухнедельного отдыха, три недели купаться в море в Диеппе". Он так и сделал, и эта поездка настолько ему помогла, что он не только всю последующую зиму (1873/74) чувствовал себя вполне удовлетворительно, но и на лето 1874 года не встретилось необходимости предпринимать каких бы то ни было врачебных мер. Но с половины следующей (1874/75) зимы снова начались явления вялой деятельности кишечного канала. <...> Весной осмотрел, вместе со мной, Николая Алексеевича профессор Боткин, и сообщая было порешено, что летом он будет пить четыре недели Мариенбад-Крейцбруннен в своем имении Чудово. Но едва я вернулся, в сентябре, в Петербург, Николай Алексеевич пришел ко мне с жалобами, что дурно провел лето, тогда как обыкновенно это время года, будучи постоянно на охоте, в движении, на воздухе, привык чувствовать себя прекрасно. <...> Вся эта зима проходила для Николая Алексеевича тяжелее предыдущих еще и потому, что один из его главных соредкторов по "Отечественным запискам", М. Е. Салтыков, будучи тяжело болен, должен был зимние месяцы провести в южном климате за границей, и, вследствие этого, труды Николая Алексеевича по редакции значительно увеличились. Раза четыре в зиму он посылал за мной, жалуясь постоянно на какое-то неопределенное недомоганье, вялость, зябкость, неудовлетворительный сон; он называл это лихорадкой и приписывал простуде, тогда как при исследовании ничего лихорадочно не оказывалось... <...>

В мае я уехал в деревню на две недели, и когда возвратился в Петербург на два дня перед своей поездкой за границу, то Николай Алексеевич тотчас же пришел ко мне с сугубыми жалобами на свою невралгическую боль; она стала и чаще, и продолжительнее, и острее, особенно по ночам, так что иногда заставляла его вскакивать с постели. <...>

Николай Алексеевич сообщил мне свой план - на лето переехать в Гатчино, летнее пребывание профессора Боткина, чтобы там стать под непосредственное его наблюдение. Вполне одоблив это намерение, я расстался с Николаем Алексеевичем, скорбно предчувствуя, что осенью встречу его в далеко худшем виде, чем теперь. Летом доходили до меня редкие слухи, что Николаю Алексеевичу все не лучше¹ и что он в августе вместе с Боткиным переехал в Крым. В начале октября, когда я уже был в Петербурге, вести о здоровье Николая Алексеевича стали до того тревожны, что я, по просьбе друзей его, послал профессору Боткину телеграмму в Крым с запросом о ходе болезни. Ответ пришел довольно успокоительный, что, под влиянием недавно начатых меркуриальных втираний, боли стали слабее и питание несколько улучшается. К половине октября политическое положение в Европе приняло угрожающий характер; Россия послала Турции свой ультиматум в защиту Сербии, в воздухе запахло войной, и при таких условиях оставаться в Крыму сделалось и неудобно, и небезопасно; Николай Алексеевич, по совету Боткина, должен был выехать и 30 октября вернулся в Петербург и в тот же вечер прислал за мной. Я ожидал, по слухам, найти его в худшем положении; в лице он мало изменился и похудел, худоба же тела в значительной степени скрывалась костюмом. Притом в этот вечер вообще Николай Алексеевич казался возбужденным и даже как-то благодушно веселым, что достаточно объяснялось ощущением благополучного окончания утомительных мытарств по гостиницам и железным дорогам и удовольствием чувствовать себя в своей домашней комфортабельной обстановке. Жалобам, правда, не было конца, и, по крайней мере, с час изливал он передо мной эпопею своих

страданий, так что я за поздним часом и за усталостью его после дороги отложил исследование до следующего дня. Но самый рассказ о ходе болезни за лето и осень мне показывал, как она прогрессивно развивалась, и Николай Алексеевич не мог не видеть этого прогрессивного ухудшения и, видимо, сознавал, что дело его плохо. <...> Самая продолжительность болей гораздо усилилась: бывали дни, когда свободных от них промежутков набиралось часа два в сутки; сила их достигала такой степени, что больной буквально не находил места, так что нередко, измученный жестокостью и продолжительностью болей и несколькими проведенными подряд бессонными ночами, он впадал в полное отчаяние и думал о самоубийстве². <...> Силы Николая Алексеевича были еще настолько изрядны, что на переезде в экипаже из Ялты в Симферополь он часто выходил из коляски и по четверть часа шел пешком; что же касается до творческой силы поэта, то она продолжала работать, не подчиняясь страданиям тела - доказательством чему служит большая поэма в 1800 стихов, написанная в Ялте и посвященная профессору Боткину³. <...>

В начале декабря была устроена консультация с профессором Склифосовским, на которой, кроме меня, находился еще доктор Головин, наблюдавший также больного во время его пребывания в Крыму. <...>

В передаче своего мнения больному профессор Склифосовский старался его как можно более успокоить, но, или в его словах, или в тоне проскользнуло что-то такое, что, видимо, сделало на Николая Алексеевича тяжелое впечатление, и он снова захандрил после его отъезда. К этому присоединялась еще новая нравственная тревога: поэма, написанная в Крыму, встретила препятствия к напечатанию; это был для него неожиданный удар, и я помню, как он встретил меня однажды словами: "Вот я оно, наше ремесло литератора! Когда я начал свою литературную деятельность и написал первую свою вещь, то тотчас же встретился с ножницами; прошло с тех пор тридцать семь лет, и вот я, умирая, пишу свое последнее произведение - и опять-таки сталкиваюсь с теми же ножницами!"⁴ Как ни старались успокоить его друзья, он очень горячился и несколько раз принимался за переделки поэмы, пользуясь короткими промежутками между страшными болями и записывая стихи на отдельных листах бумаги. Тяжелое впечатление производила исхудавшая фигура Николая Алексеевича во время болей, прикрытая всегда одной только длинной, спускавшейся до колен, рубашкой, - тогда он буквально не находил места, или вскакивал и ходил с палкой по комнатам, или становился на четвереньки на постели, или ложился, но и лежа, не мог оставаться покойно десяти минут, а находился в постоянном движении, поднимая то ту, то другую ногу вверх. <...> С состоянием духа Николая Алексеевича и сознанием полной безнадежности своего положения лучше всего знакомят те стихотворения, которые он написал в декабре для январской книжки "Отечественных записок" и которые явились потом под заглавием "Последние песни". Так наступил 1877 год, начало которого не ознаменовалось ничем особенным, только <...> большей продолжительностью и интенсивностью болей, что заставило нас дойти постепенно до удвоенной порции опийных спринцований; больной шел неохотно на эту прибавку, боясь, как я уже сказал выше, вредного влияния опия на свои умственные способности, и поэтому мы часто умышленно скрывали от него количество впрыснутых капель. <...> Едва ли я преувеличу, сказавши, что этот месяц, с 20 января и приблизительно до 20 февраля, был относительно самым покойным за все время болезни Николая Алексеевича, до операции. <...> По счастью, это значительное физическое облегчение страдания совпало с тем высоким подъемом духа, который произошел в Николае Алексеевиче за это время, Появившиеся в январской книжке "Отечественных записок" его "Последние песни", говорившие о его страданиях, вероятности близкой смерти и проводившие, между прочим, мысль о том, что он умирает чуждым народу, вызвали огромное сочувствие к его страданиям и горячий протест против последней мысли как в журналистике, так и в публике. Все органы печати, наперерыв один перед другим, высказывали свои соболезнования к его страданиям и говорили об огромном значении его литературной деятельности;⁵ но к подобной печатной оценке своего таланта, как бы ни была она лестна для него, он все-таки более или менее привык; гораздо более поразил его своею неожиданностью взрыв общественного сочувствия к нему, выразившийся непосредственно: ежедневно стал получать он массу писем и телеграмм, то единичных, то коллективных из разных мест и часто глухих закоулков России, из которых он мог заключить, как высоко ценит его родина и какими огромными симпатиями повсеместно пользуется в ней его талант⁶. При всей скрытности своего характера и необыкновенном умении владеть собой, он не мог не выражать ясно, как все эти манифестации его трогали и возвышали в собственных глазах. Раз как-то, показывая мне две телеграммы, полученные им в это утро из Ирбита⁷, он сказал: "Часто

нам приходилось в журналистике говорить, что мы не знаем совсем нашего подписчика и какого он мнения о нашей деятельности, а вот он теперь для меня и открывается!" Возбужденный этими манифестациями, он сделался гораздо разговорчивее, охотно стал вспоминать и рассказывать различные эпизоды своей жизни (не исключая и тех темных, которые пятнами лежали на его жизни и которые теперь он старался, видимо, обелить)⁸, свои отношения к различным нашим знаменитостям; под влиянием наплыва этих воспоминаний он остановился на мысли составить свою биографию и лихорадочно приступил к этому таким образом: частью он диктовал сам, пользуясь всяким свободным от боли часом, то брату Константину Алексеевичу, то сестре Анне Алексеевне, иногда даже ночью будил их и заставлял писать под свою диктовку; частью же передавал устно тот или другой эпизод своей жизни кому-нибудь из друзей и просил его литературно обработать его и написать⁹. В то же самое время он редактировал и выпустил в свет отдельное издание своих "Последних песен"; наконец, он тогда же сочинил (впрочем, начало было им написано несколько лет раньше) свою поэму "Мать"¹⁰ и стихотворение "Баюшки-баю", появившееся в мартовской книжке "Отечественных записок", из которого публика, как из бюллетеня, могла усмотреть, что здоровье поэта все плохо и что опасность близкой смерти его не устранена <...>. Дня нас, врачей, становилось очевидным, что наступает время самого крайнего средства, чтобы продлить жизнь больного, то есть операции <...>. Глухой намек, сделанный на нее больному, крайне раздражил его, и он наотрез объявил, что предпочитает умереть, чем подвергаться еще мучениям этой операции; мне насилу удалось его успокоить, и затем пришлось прекратить все дальнейшие попытки возвратиться к этому вопросу. Оставив Николая Алексеевича в покое, я обратился к сестре его, Анне Алексеевне Буткевич, страстно любившей брата, и как к лицу наиболее энергичному между близкими, и предупредил о неизбежности операции, прибавив, что операция не вылечит больного, а только на некоторое время продлит жизнь его и устранит вероятность мучительнейшего исхода, следующего за абсолютной непроходимостью кишки - исхода, который неотразим без помощи операции. Сестра поняла неизбежность операции и тотчас же, по чьему-то совету, написала одному знакомому врачу в Вене просьбу вступить в переговоры с известным венским хирургом, профессором Билльротом, не согласится ли он приехать в Петербург для производства операции. Когда она мне сообщила свой план о приглашении Билльрота, я признал его неосуществимым, говоря, что Билльрот не приедет, будучи очень занят в Вене, и в подтверждение указал на то, что венский же профессор Бамбергер, по слухам, приглашался в декабре в Кишинев на консультацию к великому князю Николаю Николаевичу и отказался приехать за неимением времени. Вскоре после этого госпожа Буткевич передала мне ответ ее корреспондента из Вены, что Билльрот уехал в Италию и потому переговоры с ним не состоялись. А между тем Состояние Николая Алексеевича все ухудшалось; еще 3 марта он, в присутствии Пыпина, Богдановского и меня, продекламировал нам, лежа в постели, свое только что написанное стихотворение "Баюшки-баю" и с тех пор более полугода не принимался за стихотворную работу. Боли в это время усилились до того, что больной, наконец, вынужден был постепенно увеличивать количество опия в спринцованиях и к половине марта дошел до девяти капель три раза в день; но и это количество давало самое кратковременное успокоение, а между тем возбуждало и энервировало его страшно. Раздражительность его достигла крайних пределов, и он, приписывая ее исключительно опию, решился силой своей энергии снова убавить количество и дошел до пятнадцати - шестнадцати капель в сутки, хотя боли были так велики, что он часто кричал или же по часам тянул громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волге. <...> Г-жа Буткевич получила письмо из Вены от Билльрота, соглашавшегося приехать в Петербург для производства операции, с обязательством пробыть три последующих за ней дня. Так как Николай Алексеевич находил условия Билльрота для себя необременительными (15 000 прусских марок) и, видимо, под влиянием сестры, был за вызов его, то профессору Богдановскому и мне ничего не оставалось, как согласиться на это решение; поэтому назавтра же была составлена ответная телеграмма Билльроту, чтобы он немедленно же выезжал. <...>

В понедельник вечером профессор Билльрот приехал в Петербург, и в тот же вечер я, бывши у него, подробно передал историю болезни, а назавтра утром, 12 апреля, привез его в восемь часов к больному; он сделал быстро, чтобы не мучить больного, исследование пальцем прямой кишки и, переговоривши с профессором Богдановским о некоторых необходимых приготовлениях к операции, условился произвести ее в час того же дня. В назначенное время мы все собрались, явились ассистенты, и было немедленно приступлено к хлороформированию больного, а по захлороформировании он был перенесен в другую комнату, где и была произведена операция. <...> Я заметил, что операция, по часам,

продолжалась 25 минут; захлороформирование было полное; больной ничего не чувствовал и пришел в сознание только тогда, когда все было кончено <...>. Билльрот и Богдановский согласились съезжаться на перевязки три раза в день: утром, среди дня и вечером; я же увидел больного только назавтра, среди дня, и нашел его покойным, почти без лихорадки (38,2, а в день операции вечером было 37,5), с жалобой на легкое жжение на месте раны и на ночь, без сна проведенную. Вообще же он принял меня дружелюбно, как всегда, но как-то сосредоточенно, говорил шепотом и отвечал односложно на вопросы, однако же выразил свое полное удовлетворение, что все так благополучно кончилось. <...> Я крепко настаивал на скорейшей перевозке больного на дачу, так как приближались жары, и жить в душных городских комнатах было бы тяжело, да и лишило бы важного условия для возможного восстановления сил - хорошего воздуха; сам Николай Алексеевич очень хорошо понимал пользу переезда на дачу, но очень боялся испортить результат операции экипажного тряскою, так что проектировалось даже перенесение его на носилках; следует заметить, что с конца мая больной почувствовал себя в состоянии около часу сидеть в креслах, тогда как с ноября сидячее положение для него было решительно невыносимо. За границей я получал еженедельно известия о ходе болезни от студента Демьянкова, ходившего за больным и пользовавшегося его особенным расположением. Пищеварение вскоре при ежедневных промывках пришло в старый порядок, а вместе с тем исчезли лихорадочное состояние и изжога, улучшились аппетит и силы. Сознывая это, больной однажды, во второй половине июня, внезапно решил выехать и, слегка одевшись, сел с сестрой и студентом в экипаж и прокатился по улицам, а вскоре затем выехал вторично, но уже подальше: не видя от этих выездов ни малейшего ухудшения, он наконец перебрался 1 июля на дачу Строганова на Черной речке. В общем же, за лето никаких существенных перемен не произошло; врачу было трудно ладить с ним, как с человеком нервным, и особенно в отношении пищи: часто он накидывался на вещи трудноваримые и жирные, и тотчас же ему делалось хуже¹¹. <...>

С августа больной ли, наученный опытом, стал несколько воздержаннее относительно тяжелой пищи или местные явления сложились несколько благоприятнее, но страдания его чуточку затихли, и тогда он стал немного читать и изредка кое-что писать, а в конце августа переехал с дачи в город. Так же однообразно и довольно сносно прошел сентябрь, и когда я его увидел в конце этого месяца, то передо мной лежал тот же Некрасов, только исхудавший до невозможности и с более заострившимися чертами лица. Состояние духа было мрачное, сосредоточенное, говорил он мало и, видимо, уже плохо верил утешениям в полное поправление, говоря, что он обратился в животное и чувствует, что в таком состоянии может прожить еще долго, но какой прок в такой жизни? <...> Большую часть дня больной лежал часто с закрытыми глазами, изредка бросая какое-нибудь односложное слово, и то большей частью если его о чем-нибудь спросят; правда, теперь он ежедневно читал газеты, но почти никогда не говорил о прочитанном, хотя за ходом военных действий, очевидно, следил. <...>

Весь октябрь он охотно пил молоко и дошел до двух бутылок в сутки, но потом оно ему надоело, и он ограничивался двумя стаканами, пил крепкий бульон, токайское вино (до вина вообще он был не охотник и пил как лекарство) и ел мясо. В октябре же отстали два последние шва с брюшины. Несколько раз на дню он вставал с постели и прохаживался по комнатам, обыкновенно держась за руку ходившей тогда за ним сиделки; один он ходить боялся с тех пор, как летом чуть не упал; всякий день, кроме того, проводил несколько часов сидя в кресле. Из знакомых он пускал к себе немногих, и не надолго¹². В ноябре же он стал чаще и чаще жаловаться сначала на местные поты, которые иногда замечал на груди и на голове, обыкновенно при пробуждении, а потом на редкие и непродолжительные ознобы; я же замечал, что пульс по временам делался чаще и получал несвойственную ему полноту <...>. При всем этом нервозность его до того была велика, что не было возможности уговорить на правильное измерение температуры; раза два или три, после настойчивых приставаний, он ставил наконец термометр, но, при его худобе, термометр плохо ущемлялся, а прижать со стороны он никак не позволял, поэтому и эти измерения оказывались чисто фиктивными, хотя и таким образом температура раз получилась 38,1. Все это, очевидно, указывало на происходивший в пораженном месте распад и начало гнойного заражения и заставляло все более и более ожидать скорой развязки, хотя самочувствие больного оставалось весьма удовлетворительным в сравнении с прежними дооперационными болями; правда, с появлением лихорадочного состояния, его стали чаще и чаще беспокоить старые отраженные боли в конечностях, однако ж, он часто дремал днем, а ночью спал иногда по три-четыре часа без перерыва; голова была настолько свежа, что, почти не бравшись с конца февраля за

карандаш, в ноябре и в начале декабря он написал несколько мелких стихотворений, и одно из них ("Мне снилось, на утесе стоя") помогает нам заглянуть в душу поэта и открыть, что и в это время надежда на поправление не покидала его и что стихотворения, написанные им в начале 1877 года, дышали большим отчаянием и безнадежностью, чем эти, в действительности оказавшиеся "Последними песнями"¹³. <...>

В декабре заметно уменьшился аппетит, и хотя, несмотря на это; больной ел все-таки изрядно, но силы поубавились; он меньше ходил по комнате, еще резче осунулся в лице и самый цвет лица сделался зеленовато-бледным; явился небольшой отек в обеих ступнях. <...>

13 декабря после промывки был довольно сильный озноб и часа два после него - обильный общий пот. 14 декабря я нашел его лежащим в кровати в обычной позе, на правом боку, с подложенной под щеку правой рукой. <...> Больной, как всегда, жаловался только на слабость и тоску во всем теле, но преимущественно в руках. По окончании осмотра, я сел подле кровати и сказал ему больше для того, чтобы испытать свежесть его головы: "А ведь сегодня четырнадцатое декабря". - "Да, - отвечал он,-- я нынче как проснулся, так и вспомнил об этом". Поговоривши еще немного, я уехал. Вечером того же дня, в девятом часу, за мной послали спешно; приехавши, я его нашел в каком-то несвойственно ему возбужденном состоянии; он меня встретил словами, произнесенными с досадой: "Зачем это вас тревожили?" Но речь была до того нечиста, что из его объяснений я решительно не мог понять, в чем дело; из расспросов же приближенных обнаружилось, что в семь часов он встал с кровати и перешел в другую комнату, где сел в кресло и попросил чаю; но едва он выпил стакан, как почувствовал потрясающий озноб, и попросил сейчас же уложить его в постель; озноб продолжался около 1/4 часа. <...> В девятом часу утра я нашел его в менее возбужденном состоянии: пульс - 96, менее полный, температура тела не повышена, легкая испарина; ясный полупаралич левого личного нерва и полный паралич правой половины тела. <...> Николай Алексеевич хотел во что бы то ни стало встать и походить, по обыкновению, по комнате; отговорить его было невозможно, и, поднявши с великим трудом с постели, его обвели два раза по комнате, причем правая нога тащилась сзади и передвигалась при поворотах посторонними руками, но он этого не замечал, а только твердил что-то недовольным тоном, и из всего его бормотанья несколько яснее слышались беспрестанно повторяемые слова: "Ну, что это? Ну, что это?" Я раз спросил его, что он хочет сказать, и он довольно ясно произнес: "Они мне всю спину изломали", очевидно, разумея лиц, водивших его по комнате. Наконец его уложили в постель, с которой ему более уже не пришлось вставать. В течение дня он заметно стал свежее, речь гораздо яснее, нога обнаруживала большую подвижность и он стал произвольно сгибать ее в колене, но зато рука оставалась совершенно неподвижной. Ничего не ел, но очень благодарил за мороженое, которое я ему предложил и которое он требовал беспрестанно.

16 декабря. Больного навестил и осмотрел профессор Боткин; чтобы выслушать задние доли легкого, его с трудом можно было посадить в постели. Кожа покрыта испариной; больной беспрестанно просил пить; от приема лекарства отказывался. <...>

17 декабря. Сознание ясное; встретил меня словами: "Все не околеваю", жаловался на икоту и говорил, что это явление предсмертное. Опухоаь на бедре также начинает его сильно беспокоить, она увеличивается и переходит на переднюю поверхность. Все как бы дремлет, зарываясь затылком в подушку; просит воды, выпьет или скажет слово и сейчас же захрапит, по временам дыханье как бы прекращается и после паузы следует глубокое вдыханье (Шейн-Штоковский феномен). Пульс - 100, полный.

18 декабря. Ночью вырвало, потому что часто и много пил, то зельтерскую воду, то лимонад, обыкновенно назначая сам и раздражаясь, если ему давали не то, что он просил. Едва уговорил принять утром несколько ложек бульона. Просит почти беспрестанно растирать обе ноги ниже колена. Опухоль бедра - так же как накануне; явился небольшой отек в запястье парализованной руки. Сонливость несколько меньше, пульс - 106, сильная испарина.

19 декабря. Ночью засыпал по часу, в промежутках требуя пить; немного бредил и, между прочим, сказал: "Зачем они заговорили мне только одну половину головы?" <...>

20 декабря. Сонливость и икота прекратились, жажда меньше; отказывается от пищи, говоря, что боится рвоты, однако выпил немного бульону. Жалуется на боль и жжение в обеих ступнях и преимущественно в левой и непрерывно просит поливать их с губки холодной водой, ссылаясь на то, что Плетнев ему всегда советовал лечиться холодной водой; поливание, видимо, его успокаивает, но как только его- прекращают, он начинает волноваться и жаловаться, что ему не хотят помочь.

21 декабря. Те же жалобы на жжение в ступнях; прочие явления те же. <...>

24 декабря. Больной, видимо, слабее, но провел сутки покойнее, поел немного бульону, рвоты не было. Отек правой руки увеличивается; опухоль бедра не изменилась; больше всего жалуется на место пролежня.

25 декабря. Гораздо слабее, говорит очень мало и менее ясно; в первый раз пожаловался на боль в голове, именно во лбу, и, кроме того, на боль в горле и глотает с гримасой, хотя при исследовании в зеве ничего не заметно.

26 декабря. Слабость увеличивается; трудно понимать, что хочет сказать больной, однако же явственно пожаловался на боль головы; глотание трудно, пульс - 100, но довольно полный. Около пяти часов дня больной поочередно подозвал к себе жену, сестру и сиделку и каждой сказал одно и то же слово, как бы "Прощайте". С этого времени он уже более ничего не говорил, и когда я приехал, в десятом часу вечера, он, видимо, ничего не создал, но когда я попробовал дать ему с ложки воды с вином, тотчас проглотил, поморщившись.

27 декабря. Вся ночь прошла так, как я его оставил, но наутро я нашел пульс около 100 и менее полным, ритм дыханий правильный, с числом 36 в минуту. Выражение лица покойно, ни один мускул на нем не шевелился, глаза полуоткрыты и устремлены на одну точку; все тело лежало совершенно неподвижно на спине, и, подошедши к кровати, можно было подумать, что жизнь покинула тело, если бы не движения грудной клетки, да левая рука находилась в непрерывном движении; он то подносил, ее к голове, то клал на грудь. Я заезжал еще во втором и пятом часу - перемены не было; но в восемь часов вечера я нашел, что дыхание сделалось шумнее и реже, пульс стал исчезать, конечности несколько холоднее, а около 8 1/2 ч. начались последние минуты: дыхание становилось все реже и реже, рот то открывался, то закрывался, явилось два раза судорожное сокращение челюстей, затем небольшой короткий храп - и все было кончено. <...>

Примечания

Николай Андреевич Белоголовый (1834--1895) - врач, тесно связанный с демократическими кругами России. В 70-е годы был близок к членам редакции "Отечественных записок"; лечил Салтыкова-Щедрина, Елисеева. Н. А. Белоголовый был знаком с Герценом, Огаревым, Л. Н. Толстым, Тургеневым. В марте 1877 года Н. А. Некрасов писал брату Федору: "При мне постоянно доктор Белоголовый и профессор Богдановский, хирург. Боткин ездит тоже. И много их. Два вышеназванные (Белоголовый и Богдановский) превосходные люди. Я нашел в них друзей" (XI, 410).

Через три дня после смерти поэта Н. А. Белоголовый опубликовал своеобразное "медицинское заключение": "Болезнь и последние дни жизни Н. А. Некрасова" (*НВ*, 1877, No 661, 31 декабря). В этой статье он писал о своем решении "со временем опубликовать подробную историю" болезни Некрасова. Это обязательство было им выполнено. В "Отечественных записках" (1878, No 10) была опубликована его статья "Болезнь Николая Алексеевича Некрасова", которая вызвала возражения сестры поэта, А. А. Буткевич; она протестовала против "неуместных подробностей" в изложении болезни Некрасова (*ЛН*, т. 53--54, стр. 188). Редакция журнала считала статью Белоголового документом, представляющим общественный интерес. Елисеев пытался разубедить А. А. Буткевич: "Я положительно недоумеваю, каким образом и почему смогли причинить Вам огорчение статьи Белоголового о болезни Вашего брата? С моей точки зрения, как статьей Белоголового, так в особенности печатанием ее в литературном органе сделана памяти вашего брата такая честь, какой никто не удостоивается. Это, впрочем, не мое только личное воззрение. Я и слышал и

видел в газетах отзывы очень благоприятные для этой статьи" (*ИРЛИ*, ф. 203, ед. хр. 103, л. 12).

Печатается с сокращениями по журналу "Отечественные записки", 1878, No 10, отд. II, стр. 314--340.

¹ Стр. 429. Это подтверждается жалобами Некрасова на свое состояние в письмах к родным. "Любезный брат Федор, мне очень плохо; главное: не имею минуты покоя и не могу спать - такие ужасные боли в спине и ниже уже третий месяц. Живу я в усадьбе около Чудова, почти через каждые десять дней езжу в Гатчино, где живет доктор Боткин; что далее будет со мною, не знаю, - состояние мое крайне мучительное - лучше не становится" (XI, 398--399). "Любезная сестра Анна, я уже четвертый раз путешествую в Гатчино, но вызывать тебя туда мне жаль было - целые сорок верст, и в Лигове час ждать. А утешительного ты увидела бы немного. Боли меня не покидают; сто дней не спал по-человечески; облегчения бывают изредка - на полдня; а то сплошная мука. Ноги слабеют" (XI, 400).

² Стр. 430. Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову: "Сегодня, например, воротился из Крыма Некрасов - совсем мертвый человек. Ни сна, ни аппетита - все пропало, все одним годом сказалося. Не проходит десяти минут без мучительнейших болей в кишках, и таким образом идет это дело с апреля месяца. Вы бы не узнали его, если б теперь увидели. Я был хорош, а он теперь - две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги" (*Щедрин*, т. 19, стр. 79).

³ Стр. 430. Речь идет о части поэмы "Кому на Руси жить хорошо": "Пир - на весь мир".

⁴ Стр. 431. "Пир - на весь мир" был включен в ноябрьскую книжку "Отечественных записок" за 1877 г. Цензор А. Лебедев признал это произведение "крайне вредным по своему содержанию, так как оно может возбудить неприязненные чувства между сословиями". Цензор предлагал книжку журнала "подвергнуть аресту" (*ГМ*, 1918, IV--VI, стр. 98). Это мнение разделил председатель С. -Петербургского цензурного комитета А. Г. Петров. Не помогло личное обращение Некрасова к начальнику Главного управления по делам печати В. В. Григорьеву (XI, 407--408). А. Краевский, не дожидаясь ареста журнала, вырезал из него "Пир - на весь мир".

Салтыков-Щедрин писал 25 ноября 1876 г. П. В. Анненкову о Некрасове: "И вот этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невыносимых болей написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го No. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться" (*Щедрин*, т. 19, стр. 82).

⁶ Стр. 432. Об этом писали С. А. Венгеров в "Русском мире" (1877, No 35). А. С. Суворин в "Новом времени" (1877, NoNo 326, 380) и др. Большой резонанс имели стихотворение "Не говори, что ты сойдешь в могилу..." ("Неделя", 1877, No 5) и письмо в стихах от студентов Харьковского университета: "Напрасно мнил, что ты и жил и умираешь нелюбим..." (*СПб. вед.*, 1877, No 69).

В откликах, опубликованных в либеральной прессе, так или иначе выражалось настроение русской прогрессивной общественности, широкого круга читателей. Интересно в этой связи письмо (от 20 февраля 1877 г.) Суворину как издателю "Нового времени" от В. С. Соколова, жителя г. Костромы: "Вы, вероятно, согласитесь со мной, что заслуга Н. А. Некрасова велика перед обществом; его деятельность в высшей степени плодотворна. Но насколько важны его заслуги, настолько же он дорог читающему люду. Поэтому Вы вполне можете понять, насколько обидно, больно и досадно на нашу ежедневную прессу за ее крайне равнодушное отношение и к больному и к читателям. Признаюсь, подобное отношение прессы к таким деятелям, как незабвенный Некрасов, мне представляется по меньшей мере постыдным. Извините за откровенность, но я думаю, что отсутствие сведений о состоянии здоровья нашего поэта свидетельствует за полный индифферентизм самих литераторов к судьбам российской литературы и общества. Им, по-видимому, все равно, жив ли Некрасов, выздоравливает ли,

умер ли он!! Чем же иным можно объяснить, что читатели газет пребывают в совершенной неизвестности относительно его здоровья?!" (*ЦГАЛИ*, ф. 459, оп. i, ед. хр. 3997, л. 1об).

⁶ Стр. 432. Некрасову готовилось и было отправлено несколько адресов от учащейся молодежи, от рабочих (об этом см. стр. 451). Салтыков-Щедрин писал в то время: "Замечательно то сочувствие, которое возбуждает этот человек. Отовсюду шлют к нему адреса, из самой глубины России" (*Щедрин*, т. 19, стр. 91).

⁷ Стр. 432. В одной из телеграмм, отправленной из Ирбита на имя Суворина с какого-то представительного собрания 17 февраля 1877 г. говорилось: "Просим вас сказать Некрасову, что его обуемая широким лаптем муза мести и печали давно протоптала глубокую тропу в наши простые сердца; пусть он выздоравливает, пусть он встанет и доскажет нам, кому живется весело и вольготно на Руси и почему умирают и собираются умирать лучшие наши надежды. Это говорят сибиряки со всех концов Сибири" (В. Евгеньев, Николай Алексеевич Некрасов, М. 1914, стр. 254).

⁸ Стр. 432. Имеются в виду "муравьевская ода", превратные толкования его издательских дел и др. (см. воспоминания М. А. Антоновича, Ип. А. Панаева, Г. З. Елисеева). Оценка Белоголовым признаний Некрасова совпадает с оценками Салтыкова-Щедрина и, вероятно, подсказаны последним. Н. Щедрин писал Анненкову о Некрасове: "А он-то, в предвидении смерти, все хлопочет, как бы себя обелить в некоторых поступках" (*Щедрин*, т. 19, стр. 91).

⁹ Стр. 432. Эпизоды своей жизни Некрасов рассказывал А. Н. Пыпину, С. Н. Кривенко, А. С. Суворину, В. А. Панаеву и др. См. Автобиографии Некрасова, *ЛН*, т. 49--50, стр. 133--210.

¹⁰ Стр. 432. Начало поэмы "Мать" было опубликовано в 1861 г., отрывок из поэмы печатался в 1869 г. В 1877 г. поэму Некрасов завершить не смог.

¹¹ Стр. 435. Более подробные сведения содержатся в письме А. А. Буткевич Ф. А. Некрасову от 21 июля 1877 г.: "Представь себе, что нередко выдаются такие дни: он встает утром, умывается, причесывается, надевает халат и садится завтракать. Ест хотя и меньше, чем при тебе, но все же порядочно - потом читает газеты и сидит за столом часа два и больше, в это время его несколько раз схватит, но ненадолго. В течение дня встает с постели раз пять, ходит по комнате иногда минут двадцать; когда теплый день, ездит кататься не менее часа. Это лучшие дни, а бывает иногда и совсем скверно. Вообще же нервен и раздражителен страшно, трудно очень на него угодить.

При нем теперь находятся два медицинские студента, которые и дежурят ночь и день. Худ он страшно, с тех пор как ты его видел, очень похудел в лице и выражение изменилось. Стихов о зимы совсем не пишет и вообще никакими делами не занимается, даже в тех размерах, как при тебе, говорит очень мало и мало с кем видится даже из близких. Последнее, может быть, оттого, что всегда под страхом, что бы с ним не случилось какого-нибудь казуса" (*АСК*, стр. 283).

¹² Стр. 436. В письме А. А. Буткевич Ф. А. Некрасову от 25 октября 1877 г. говорилось: "На мой взгляд, состояние брата не меняется ни к худшему, ни к лучшему, доктор же находит, что ему лучше и что есть надежда еще на большее улучшение, которое, понятно, будет приходиться постепенно. Если ты помнишь, как брат был худ, когда ты его видел, то теперь буквально остались одни кости - страшно смотреть, когда он становится на ноги. Время проводит все так же, как я тебе писала летом: по утрам читает довольно много, но писать уже ничего не может, говорит мало, жалуется, что тяжело - голос очень слаб; к вечеру большое утомление и раздражение.

Острые, мучительные боли совсем прошли, но зато много новых тяжелых явлений. Иногда жалуется, что его совсем развинтило, это когда начинается общий лом в костях от худобы и продолжительного лежания" (*АСК*, стр. 284).

¹³ Стр. 436. Последним произведением Некрасова было стихотворение "О Муза! Я у двери гроба...".